

ИССЛЕДОВАНИЯ

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Литературный этикет древней Руси

(к проблеме изучения)

Сообщение¹ мое посвящено одному весьма важному для развития русской литературы и русского литературного языка явлению, до сих пор не обращавшему на себя должного внимания литературоведов и языковедов. Явление это я условно предлагаю назвать литературным этикетом.

Феодализм времени своего возникновения и расцвета с его крайне сложной лестницей отношений вассалитета-сюзеренитета создал чрезвычайно развитую обрядность: церковную и светскую. Взаимоотношения людей между собой и их отношения к богу подчинялись этикету, традиции, обычаю, церемонии, до такой степени развитым и деспотичным, что они пронизывали собой и в известной мере овладевали мировоззрением и мышлением человека.

Из общественной жизни склонность к этикету проникает в искусство. Изображения святых в живописи в какой-то степени подчиняются этикету: иконописные подлинники предписывают изображение каждого святого в строго определенных положениях со всеми присущими ему атрибутами; то же касалось и изображения событий из их жизни или событий священной истории.

Как известно, этикет феодального двора в широкой степени повлиял на иконографические сюжеты. «В своем исследовании „L'Empereur dans l'art byzantin“ (Paris, 1936) проф. А. Н. Грабар, — пишет В. Н. Лазарев, — убедительно показал, насколько тесно византийская иконография была связана с позднеантичным культом императора. Римский придворный ритуал, впитавший в себя множество восточных элементов, несомненно повлиял на процесс сложения основных иконографических типов. Так, образ восседающего на троне императора оказался претворенным в христианской иконографии в образ восседающего на троне Христа; изображение императорского трона легло в основу Этимассии; сцена посвящения императором чиновника в сан сделалась исходной точкой для таких сюжетов, как коронование Христом святого, либо передача Христом закона апостолу Петру; сцена поклонения императору была переработана в сцену поклонения апостолов Христу, а позднее в „Деисус“ и в „Страшный суд“; сцена принесения варварами даров императору — в сцену поклонения волхвов; сцена триумфального шествия императора — в сцену входа в Иерусалим; сцена освобождения императором народа, города либо провинции — в сцену освобождения Христом из ада Адама

¹ В сокращении доклад был прочитан на Международной конференции по поэтике в Варшаве в августе 1960 г.

и т. д. Прославление Христа как властителя мира и победителя смерти способствовало широкому усвоению христианским искусством „императорской“ иконографии и символики, особенно ее „триумфальных“ вариантов. На ранних этапах развития „императорская“ иконография и христианская иконография вели раздельное существование. Позднее они сливаются. По мере укрепления византийского придворного церемониала и его распространения на периферии его воздействие на религиозное искусство должно было становиться все более сильным. На этой почве и сложились те образы Марии и Христа, в которых они приравняются к царице и царю».²

Помимо живописи этикет может быть вскрыт в строительном искусстве средневековья и в прикладном, в одежде и в теологии, в отношении к природе и в политической жизни. Это была одна из основных форм идеологического принуждения в средние века.

Если мы обратимся к литературе и литературному языку эпохи раннего и развитого феодализма, то и тут обнаружим ту же склонность к этикету. Литературный этикет и выработанные им литературные каноны — наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь содержания с формой.

Поясню. В. О. Ключевский подобрал довольно много формул, якобы специально присущих житийному жанру.³ А. С. Орлов сделал то же самое для жанра воинской повести.⁴ Нет нужды перечислять эти формулы; они хорошо известны каждому специалисту: «за руки ся емлюще сечаху», «по удолиям кровь течаше яко река», «стук и шум страшен бысть, аки гром», «бьяшеса крепко и нещадно, яко и земли постонати», «и поидоше полци, аки борове» и т. д. Однако ни А. С. Орлов, ни В. О. Ключевский не обратили внимания на то обстоятельство, что и «житийные формулы», и «воинские формулы» постоянно встречаются вне житий и вне воинских повестей, например в летописи, в хронографе, в исторических повестях, даже в ораторских произведениях и в посланиях. Это весьма важно, ибо не жанр произведения определяет собой выбор выражений, выбор «формул», а предмет, о котором идет речь. Именно предмет, о котором идет речь, является сигналом для несложного подбора требуемых литературным этикетом трафаретных формул. Раз речь заходит о святом — житийные формулы обязательны, будет ли о нем говориться в житии, в летописи или в хронографе. Эти формулы подбираются в зависимости от того, что говорится о святом, о каком роде событий повествует автор. Точно так же обязательны воинские формулы, когда рассказывается о военных событиях — в воинской повести или в летописи, в проповеди или в житии. Есть формулы, применяемые к выступлению в поход своего князя, другие — в отношении врага, формулы, определяющие различные моменты битвы, победу, поражение, возвращение в свой город и т. д. Воинские формулы могут встречаться в житии, житийные формулы — в воинской повести, те и другие — в летописи или в поучении. Легко убедиться в этом, пересмотрев любую летопись: Ипатьевскую, Лаврентьевскую, одну из новгородских и др. Один и тот же летописец не только применяет

² В. Н. Лазарев. Ковалевская роспись и проблема южнославянских связей в русской живописи XIV века. — Ежегодник Института истории искусства М., 1957, стр. 255, ср. стр. 256.

³ В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.

⁴ А. С. Орлов. 1) Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). — ЧОИДР, 1902, кн. IV, стр. 1—50; 2) О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVIII вв. — ИОРЯС, т. XIII, 1908, кн. 4, и др.

различные «формулы» — житийные, воинские, некрологические и т. д., но по несколько раз меняет всю манеру, стиль своего изложения в зависимости от того, пишет ли он о сражении князя или о его смерти, передает ли содержание его договора или рассказывает о его женитьбе.

Меняется и самый язык, которым автор пишет. Легко заметить различия в языке одного и того же писателя: философствуя и размышляя о бренности человеческого существования, он прибегает к церковнославянизмам, рассказывая о бытовых делах — к народноруссизмам. Литературный язык отнюдь не один. В этом нетрудно убедиться, перечитав «Почтение» Мономаха: язык этого произведения «трехслоен» — в нем есть и церковнославянская стихия, и деловая, и народно-поэтическая (последняя, впрочем, в меньших размерах, чем первые две). Если бы мы судили об авторстве этого произведения только по стилю, то могло бы случиться, что мы приписали бы его трем авторам. Но дело в том, что каждая манера, каждый из стилей литературного языка и даже каждый из языков (ибо Мономах пишет и по-церковнославянски, и по-русски) употреблен им, со средневековой точки зрения, вполне уместно, в зависимости от того, касается ли Мономах церковных сюжетов (в широком смысле), своих походов или душевного состояния своей молодой снохи. Для вопроса об этикете чрезвычайно важно положение Л. П. Якубинского, что «церковнославянский язык Киевской Руси X—XI вв. был ограничен, отличался от древнерусского народного языка не только в действительности..., но и в сознании людей».⁵ Действительно, наряду с бессознательным стремлением к ассимиляции церковнославянского и древнерусского языка следует отметить и противоположную тенденцию — к диссимилиации. Именно этим объясняется то обстоятельство, что церковнославянский язык, несмотря на все ассимиляционные процессы, дожил до XX в. Церковнославянский язык постоянно воспринимался как язык высокий, книжный и церковный. Выбор писателем церковнославянского языка или церковнославянских слов и форм для одних случаев, древнерусского — для других, а народно-поэтической речи — для третьих был выбором всегда сознательным и подчинялся определенному литературному этикету. Церковнославянский язык неотделим от церковного содержания, народно-поэтическая речь — от народно-поэтических сюжетов, деловая речь — от деловых. Церковнославянский язык постоянно отделялся в сознании писателей и читателей от народного и от делового. Именно благодаря сознанию, что церковнославянский язык — язык «особый», могло сохраняться и самое различие между церковнославянским языком и народным. Любопытно, однако, что при всей устойчивости сознания «особности» церковнославянского языка содержание этого сознания менялось. До XVII в. церковнославянский язык был прежде всего языком церковным, но в XVIII и XIX вв. отдельные церковнославянизмы «секуляризировались», они стали признаком высокого, поэтического языка вообще. До XVIII в. всякий торжественный стиль был до известной степени окрашен церковностью. Поэтому даже светские торжественные сюжеты, изложенные церковнославянским языком, приобретали этот церковный характер. В XVIII в. церковнославянский язык мог уже употребляться для чисто светских сюжетов, не окрашивая их церковностью. Точно так же менялось представление об «особности» делового языка. Было бы чрезвычайно важно изучить в будущем историческую изменяемость содержания этого сознания «особности» того или иного языка.

⁵ Л. П. Якубинский. История древнерусского языка. М., 1953, стр. 102—103.

Для нас важно, однако, следующее: употребление церковнославянского языка явно подчинялось в средние века этикету, церковные сюжеты требовали церковного языка.

Этот средневековой этикет в употреблении соответствующего языка или стиля языка наблюдался не только на Руси. Он еще значительнее в средневековых литературах многих других стран. Вот почему нам, вслед за Л. П. Якубинским, представляется совершенно неправильным следующее положение А. А. Шахматова, занимающее центральное место в его концепции происхождения и развития русского литературного языка, что церковнославянский язык «с первых же лет своего существования на русской почве стал не удержимо ассимилироваться народному языку, ибо говорившие на нем русские люди не могли разграничить в своей речи ни свое произношение, ни свое словоупотребление и словоизменение от усвоенного ими церковного языка».⁶ Нет нужды приводить примеры сознательного стремления к разграничению церковнославянского и русского языка, церковнославянских и русских форм. В основе этих разграничений лежат требования литературной обрядности, подчиняющие себе соображения стилистического порядка.

*

Итак, требования литературного этикета порождают стремление к разграничению употребления церковнославянского языка и русского во всех его разновидностях; эти же требования вызывают появление различных формул — воинских, житийных и пр.

Однако литературный этикет не может быть ограничен явлениями словесного выражения. В самом деле, не все из того, что было отмечено А. С. Орловым в качестве словесных формул, является действительно явлением только словесным. Так, например, среди различных «воинских формул» А. С. Орлов упоминает «помощь небесной силы» русскому войску, эта помощь может осуществляться по-разному: враги то «гонимы гневом божим», то «гневом божим и святой богородицы»; иногда бог влагает страх в сердца врагов; иногда враги бывают гонимы «невидимой силою», а иногда ангелами и т. д.⁷ Это трафарет ситуации, а не словесного ее выражения. Словесное выражение этого трафарета может быть различным, точно так же как и различных других трафаретов ситуации в описании собирания, выступления войска и нападения, в описании жизни святого — его рождения от благочестивых родителей, удаления в пустыню, подвигов, основания монастыря, благочестивой смерти и посмертных чудес.

Дело, следовательно, не только в том, что определенные выражения и определенный стиль изложения подбираются к соответствующим ситуациям, но и в том, что самые эти ситуации создаются писателями именно такими, какие необходимы по этикетным требованиям: князь молится перед выступлением в поход, его дружина обычно малочисленна, тогда как войско противника громадно и враг выступает «в силе тяжце», «пыхая духом ратным» и т. д.

Литературные каноны ситуаций могут быть продемонстрированы хотя бы на «Чтении о жигии и о погублении Бориса и Глеба». Как и большинство литературных произведений средневековья, «Чтение» от на-

⁶ А. А. Шахматов. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941, стр. 61. (Разрядка моя, — Д. Л.).

⁷ А. С. Орлов. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.), стр. 37—49.

чала и до конца пронизано обостренным чувством этикета. Описывая жизнь Бориса и Глеба, автор стремится заставить их вести себя так, как надлежит вести себя святым. Он вкладывает в их уста пространные выражения кротости и благочестия, описывает их покорность старшему брату — Святополку, их отказ от сопротивления убийцам, объясняет те из их поступков, которые несколько расходятся с общепризнанным представлением о святости (например, женитьбу Бориса). Распределяя роли своим действующим лицам, автор озабочен подысканием шаблона: Владимир — второй Константин, Борис — Иосиф Прекрасный, Глеб — Давид, Святополк — Каин, и т. д. Киевляне при крещении ведут себя совершенно «прилично». Все идут креститься и «ни поне единому супротивлящюся; но аки издавна научены, тако течаху, радующеся, к крещению».⁸ Эти слова знаменательны: люди ведут себя как «издавна» наученные — благовоспитанность ведь дается именно научением и воспитанием. Они «радуются» — этого также требует благовоспитанность. Борис, как только становится «в разуме», ищет образцов для подражания. Он обращается к богу с молитвой: «Владыко мой, Иусе Христе, сподоби мя, яко единого от тех святых, и даруй ми по стопам их ходити».⁹ Это молитва об этикете, и она вложена в уста Бориса также по этикету — житийному. Этикетна, следовательно, даже сама просьба о соблюдении этикета.

Откуда берется этот этикет ситуаций? Здесь предстоит произвести многие разыскания: часть этикетных правил взята из жизненного обихода, из реальной обрядности, часть создана в литературе. Примеры жизненно-реального этикета многочисленны. Здесь в основном этикет церковный и княжеский (верхов феодального общества). Так, например, в цитированном уже нами «Чтении о житии и о погублении Бориса и Глеба», когда Владимир посылает Бориса против печенегов, Борис прощается с отцом по этикету своего времени: «Блаженный же пад поклонися отцю своему и облобыза честней нозе его, и паки въстав, обуим выю его, целоваше с слезами».¹⁰ Агиограф конца XI в. не был свидетелем этого прощания и не мог найти описания его в предшествующих устных и письменных материалах: он сочинил эту сцену, исходя из представлений о том, как она должна была бы совершиться, принимая во внимание благовоспитанность и идеальность обоих действующих лиц.

Большинство «распространений» предшествующих редакций именно этого рода. Характерный пример: появление описания похорон Евпатия Коловрата в одной из редакций XVI в. Повести о Николе Заразском. Этого описания не было в первых редакциях, оно создано на основе обряда и обычая в XVI в., когда в силу ряда причин явилась потребность почтить главного героя Повести пышными похоронами.¹¹

Характерно, что взятым из жизни, из реальных обычаев этикетным нормам подчинялось только поведение идеальных героев. Поведение же злодеев, отрицательных действующих лиц этому этикету не подчинялось. Оно подчинялось только этикету ситуации — чисто литературному по своему происхождению. Поэтому поведение злодеев не поддавалось этикетной конкретизации в той же мере, как и поведение идеальных героев. Поведение злодеев более отвлеченно, в их уста реже вкладываются вымышленные речи. Злодеи идут рыкающе, «аки зверие дивии, поглотити

⁸ Д. И. Абрамович. Жития св. мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пгр., 1916, стр. 5.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же, стр. 7.

¹¹ Д. С. Лихачев. Повести о Николе Заразском. — ТОДРЛ, т. VII. М.—Л., 1949, стр. 333.

хотяще праведнаго».¹² Они сравниваются со зверями и, как звери, не подчиняются реальному этикету, но само сравнение их со зверями — литературный канон, это повторяющаяся литературная формула. Здесь литературный этикет целиком рождается в литературе и не заимствуется из реального быта.

Стремлением подчинять изложение этикету, создавать литературные каноны можно объяснить и обычный в средневековой литературе перенос отдельных описаний, речей, формул из одного произведения в другое. В этих переносах нет сознательного стремления обмануть читателя, выдать за исторический факт то, что на самом деле взято из другого литературного произведения. Дело просто в том, что из произведения в произведение переносилось в первую очередь то, что имело отношение к этикету: речи, которые должны были бы произвестись в данной ситуации, поступки, которые должны были бы быть совершены действующими лицами при данных обстоятельствах, авторская интерпретация происходящего, приличествующая случаю, и т. д. Писатель считает, что этикетом целиком определялось поведение идеального героя, и он воссоздает это поведение по аналогии.

Так оправдываются, например, заимствования в Житии Довмонта из Жития Александра Невского. Заимствования эти идут в первую очередь по линии соблюдения этикета. Сборы на врагов — этикетный момент, и Довмонт выступает в поход так же, как и Александр Невский. Довмонт падает на колено перед алтарем, как Александр; молится, как Александр; получает благословение от игумена, подобно тому как Александр получает его от архиепископа; идет на врагов «с малою дружиною», как и Александр.

Есть разные формы идеализации в литературе. Определяя художественный метод древнерусской литературы, недостаточно сказать, что он клонился к идеализации. Идеализация средневековая в значительной степени подчинена этикету. Этикет в ней становится формой и существом идеализации. Этикет же объясняет заимствования из одного произведения в другое, устойчивость формул и ситуаций, способы образования «распространенных» редакций произведений, отчасти интерпретацию тех фактов, которые легли в основу произведений, и мн. др.

Древнерусский писатель с непоколебимой уверенностью влагал все исторически происшедшее в соответствующие церемониальные формы, создавал разнообразные литературные каноны. Житийные, воинские и прочие формулы, этикетные саморекомендации авторов, этикетные формулы интродукции героев, приличествующие случаю молитвы, речи, размышления, формулы некрологических характеристик и многочисленные требуемые этикетом поступки и ситуации повторяются из произведения в произведение. Авторы стремятся все ввести в известные нормы, все классифицировать, сопоставить с известными случаями из священной истории, снабдить соответствующими цитатами из священного писания и т. д. Средневековый писатель ищет прецедентов в прошлом, озабочен образцами, формулами, аналогиями, подбирает цитаты, подчиняет события, поступки, думы, чувства и речи действующих лиц и свой собственный язык заранее установленному «чину». Если писатель описывает поступки князя — он подчиняет их княжеским идеалам поведения; если перо его живописует святого — он следует этикету церкви; если он описывает поход врага Руси — он и его подчиняет представлениям своего времени о враге Руси. Воинские эпизоды он подчиняет воинским пред-

¹² Д. И. Абрамов и ч. Жития св. мучеников Бориса и Глеба и службы им, стр. 10.

ставлениям, житийные — житийным, эпизоды мирной жизни князя — этикету его двора и т. д. Писатель жаждет ввести свое творчество в рамки литературных канонов, стремится писать обо всем «как подобает», стремится подчинить литературным канонам все то, о чем он пишет, но заимствует эти этикетные нормы из разных областей: из церковных представлений, из представлений дружинника-воина, из представлений придворного, из представлений теолога и т. д. Единства этикета в древней русской литературе нет, как нет и требований единства стиля. Все подчиняется своей точке зрения. Воинские эпизоды описываются писателем согласно представлениям воина об идеальном воине, житийные — согласно представлениям агиографа. Он может переходить от одних представлений к другим, всюду стремясь писать согласно «приличествующим случаю» представлениям, в «приличествующих случаю» словах.

Из чего складывается этот литературный этикет средневекового писателя? Он складывается: 1) из представлений о том, как должен был совершаться тот или иной ход событий, 2) из представлений о том, как должно было вести себя действующее лицо сообразно своему положению, и 3) из представлений о том, какими словами должен описывать писатель совершающееся. Перед нами, следовательно, этикет миропорядка, этикет поведения и этикет словесный. Все вместе сливается в единую нормативную систему, как бы предустановленную, стоящую над автором и не отличающуюся внутренней целостностью, поскольку она определяется извне — предметами изображения, а не внутренними требованиями литературного произведения.

Было бы неправильным усматривать в литературном этикете русского средневековья только совокупность механически повторяющихся шаблонов и трафаретов. Все дело в том, что все эти словесные формулы, стилистические особенности, определенные, повторяющиеся ситуации и т. д. применяются средневековыми писателями вовсе не механически, а именно там, где они требуются. Писатель выбирает, размышляет, озабочен общей «благообразностью» изложения. Самые литературные каноны варьируются им, меняются в зависимости от его представлений о «литературном приличии». Именно эти представления и являются главными в его творчестве. Вот почему мы предпочитаем говорить о «литературном этикете», а не просто о литературных трафаретах и шаблонах, которые, кстати сказать, могут не только творчески меняться, но и вовсе отсутствовать в повествовании о том или ином сложном событии. Шаблон и трафарет, воинская формула или шаблонная ситуация — это только часть литературного этикета, при этом иногда не самая даже главная.

Перед нами творчество, а не механический подбор трафаретов, — творчество, в котором писатель стремится выразить свои представления о должном и приличествующем.

Литературный этикет русского средневековья нуждается в своем изучении прежде всего как явления идеологии, мировоззрения, идеализирующих представлений о мире и обществе. Если мы станем изучать литературные каноны — все эти воинские формулы, формулы житийные, этикетные положения и т. д. — вне охватывающего их литературного этикета и мировоззрения, мы не уйдем дальше элементарного составления карточки литературных канонов и не поймем претерпеваемых этими литературными канонами изменений, не поймем мы и эстетической ценности литературы, с ними связанной.

Итак, изучение литературных канонов русского средневековья, начатое трудами В. О. Ключевского и А. С. Орлова, должно быть, во-первых, значительно расширено (помимо словесных формул следует изучать

нормы выбора языка и стиля, литературные каноны в построении сюжета, отдельных ситуаций, характера действующих лиц и т. д.), а, во-вторых, самые литературные каноны необходимо рассматривать как следствие этикетности средневекового мировоззрения и объяснять их в связи со средневековыми представлениями о должном.

*

Система литературного этикета и связанных с нею литературных канонов продержалась в древней русской литературе несколько веков. В конце концов эта система тормозила развитие литературы, вела к некоторой косности литературного творчества, хотя никогда не подчиняла его окончательно. В частности, так называемые элементы реалистичности в древней русской литературе, наличие которых усматривается в ряде древнерусских повестей о феодальных преступлениях (в рассказах об ослеплении Василька Тербовальского, убийстве Игоря Ольговича, преступлении Владимирки Галицкого, убийстве Андрея Боголюбского, смерти Владимира Васильевича Волынского, ослеплении Василия II Дмитриевича, смерти Дмитрия Красного и т. д.),¹³ являются нарушением литературных канонов. Эти нарушения постепенно нарастают. В литературе исподволь развиваются силы, которые боролись с литературным этикетом, с литературными канонами, вели к их разрушению.

Как произошло падение системы литературных канонов? Процесс этот очень интересен. С образованием Русского централизованного государства литературный этикет, казалось бы, не только не ослабевает, но, напротив, становится необыкновенно пышным. Возьмем, например, воинские формулы «Казанской истории», «Летописца начала царствования», «Степенной книги» или «Повести о взятии Пскова Стефаном Баторием». Они значительно пространнее и вычурнее, чем в Ипатьевской летописи. Авторы не довольствуются их краткой устойчивой формой. Они вводят различного рода «распространения», стремятся к соединению пышности с наглядностью и т. д. Но в результате такого рода разрастания литературных канонов теряется их устойчивость.

Разрушение литературных канонов совершилось одновременно с пышным развитием этикета в реальной жизни. Изучение зависимости разрушения литературных канонов от подъема этикета в государственной практике представляет очень большой интерес для литературоведения.

В самом деле, обрядовая сторона жизни Русского государства достигла очень большой степени развития в XVI в. Литература вынуждена была воспроизводить содержание разрядных книг, чина венчания на царство, описывать сложные церемонии. Литературе как искусству угрожала серьезная опасность. Одновременно писатели стремятся поэтому оживить церемониальную сторону своих описаний реально наблюдаемыми подробностями. Усложнение этикета встречается с ростом реалистических элементов в литературе, о причинах которого не место говорить в данном сообщении.

Это парадоксальное сочетание усложнения литературного этикета с усилением элементов реалистичности отчетливо заметно, например, в «Казанской истории». Вот как описывается в ней открытие заседания боярской думы. Бояре садятся на свои места (согласно местническим тра-

¹³ Об элементах реалистичности и их происхождения я говорю в статье «Об одной особенности реализма» (Вопросы литературы, 1960, № 3).

дициям) и произносят подобающие случаю речи. Перед выступлением русских войск устраивается их смотр, воины являются «изодевшиеся в пресветлая своя одеяния и со всеми отроки своими, тако же и дробрыя своя коня во утварех красных ведуще» и особо подчеркивается, что все было именно так, «яко до стоит быти на ратех воеводам»,¹⁴ т. е. что все совершилось согласно этикету. Но вот то обстоятельство, что собранного в Москву войска было так много, что в городе не было места ни по улицам, ни «по домам людским» и приходилось размещаться около посадов «по полю и по лугом в шатрах своих», а царь наблюдал за прохождением войска, стоя «на полатных своих лествицах»,¹⁵ — это уже детали, жизненно наблюдаемые и никаким этикетом не предусмотренные.

Точно так же происходит столкновение развития этикета с развитием склонности конкретизировать изложение в прямой речи.

Речь Грозного к своим воеводам в «Казанской истории» в точности воспроизводит отдельные формулы из обращения русских князей к дружинникам перед битвами, но, в отличие от кратких княжеских ободрений XII—XIII вв., речь Грозного пышна и пространна, отдельные формулы конкретизированы, сравнения развиты, им придана наглядность, смысл их разъяснен.¹⁶

Этим же путем идет и подновление этикетных формул. Так, например, формула «яко по удолиям крови тещи» приобретает зрительно представимые черты: «яко великия лужи дождевныя воды, кровь стояше по низким местом и очерленеваше землю».¹⁷

Обобщая, можно сказать, что явления литературного этикета стремятся в XVI—XVII вв. к увеличению, к возрастанию и тем самым от состояния организации и дифференциации переходят в состояние смешения и слияния с окружающими формами. Устойчивый и компактный вначале, этикет становится затем все более пышным и одновременно расплывчатым и постепенно растворяется в новых литературных явлениях XVI и XVII вв. И это отнюдь не вследствие «внутренних законов» развития литературы и литературного языка. Происходит крушение этикетности вообще, связанное с изменениями существа порождающего ее феодализма.

Дело в том, что с образованием централизованного государства пышность этикета возрастает, однако этикет перестает быть жизненно необходимой для феодализма формой идеологического принуждения: в централизованном государстве формы принуждения достаточно разнообразны и надежны. Нужна пышность этикета, но не очень необходима его принудительность. Из явления принуждения этикет стал явлением оформления государственного быта. Процесс падения литературного этикета совершается поэтому и другим путем: этикетный обряд существует, но он отрывается от ситуации, его требующей; этикетные правила, этикетные формулы остаются и даже разрастаются, но соблюдаются они крайне неумело, употребляются «не к месту», не в тех случаях, когда это нужно. Этикетные формулы применяются без того строгого разбора, который был характерен для предшествовавших веков. Формулы, описывающие действия врагов, применяются к русским, а формулы, предназначенные для русских, — к врагам. Расшатывается и этикет ситуации. Русские и враги ведут себя одинаково, произносят одинаковые речи, одинаково описываются действия тех и других, их душевные переживания.

¹⁴ Казанская история. Подготовка текста, вступительная статья и примечания Г. Н. Моисеевой. М.—Л., 1954, стр. 117.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же, стр. 137—138.

¹⁷ Там же, стр. 156.

Яркие примеры этих смешений литературного этикета дает одно из лучших литературных произведений XVI в. — «Казанская история». Разительное нарушение литературного этикета представляет собой в «Казанской истории» описание выступления русского войска из Коломны. Автор «Казанской истории» говорит о русском войске в образах, которые раньше можно было применить только к войску врага: русских воинов было так много, как у вавилонского царя, когда он наступал на Иерусалим: «яко же о приходе вавилонского царя ко Иерусалиму и пророчествова Иеремя: от яждения бо, рече, громов колесниц его, и от ступания коней и слонов его потрясеса земля, сице бысть zde. И поиде царь князь великий чистым полем великим х Казани со многими языцы реченными, служащими ему, с Русью, и с татары, и с черкасы, и с мордвою, и со фряги, и с немцы, и ляхи, в силе велице и тяжце зело, тремя пути, на колесницах и на конех, четвертым же путем реками, в лодиях, вода с собою воя шире Казанския земли».¹⁸ Перед нами описание выступления врага Русской земли с «двунадесятьми языками», но отнюдь не великого князя русского с русским войском. Элементы этого описания взяты из описания нахождения Батые на Киев в Ипатьевской летописи.¹⁹

Царь Иван Грозный подступает к Казани «не худеше Антиоха явленнаго егда прииде Иерусалим пленовати».²⁰ Правда, автор «Казанской истории» делает оговорку: «но он (Антиох, — Д. Л.) неверен и поган, и хотяше закон жидовский потребити, и церков божию осквернити и разорити, се же (Иван Грозный, — Д. Л.) верный и на неверных и за беззаконие к нему и за злодеяние их прииде погубити их»,²¹ но оговорка эта не спасает неловкости, и дальнейшее описание прихода русских войск под Казань прямо напоминает обычные подступы вражеского войска на Русь: «И наполни (Грозный, — Д. Л.) всю Казанскую землю воями своими, конники и пещды; и покрышася ратью поля и горы и подолия, и разлетешася аки птица по всей земли той, и воеваху, и пленяху Казанскую землю и область всюде, невозбранно ходяще и на вся страны около Казани и до конец ея. И быша убиение человеческая велика, и кровми полняся варварьская земля; блата и дебри, и езера и реки намостишася черемискими костми. Земля бо бе Казанская реками, и езерами, и блаты велми наводнена. За согрешение же к богу казанских людей лета того ни едина капля дождя с небеси на землю не паде: от солнечнаго бо жара непроходныя тья места, дебри, и блата, и речица вся преизхоша; и полцы рустии по всей земле непроходными пути, безнужно яздыху, кои любо камо хотяше, и стадо скотия предугоняху».²² Этот своеобразный плач по Казанской земле представляет собой неслыханное нарушение этикета, и нарушение это не единственное; подобные нарушения встречаются на каждом шагу: воинские формулы сохранены, но применяются они и к своим, и к врагу без особого разбора. Литературная «воспитанность» автора «Казанской истории» ограничивается немногими оговорками, подчеркивающими его сочувствие русским, — и только.

Сходство Ивана Грозного с врагом увеличивается от того, что, подступив к Казани, Иван дивится ее красоте, так же как Меньгу-хан дивился

¹⁸ Там же, стр. 124.

¹⁹ Ср. в Ипатьевской летописи под 1240 г. (ПСРЛ, т. II. СПб., 1908, стлб. 784): «и не бе слышати от гласа скрипания телег его, множества ревення вельблуд его, и рьжания от гласа стад конь его. И бе исполнена земля руская ратных»

²⁰ Казанская история, стр. 127.

²¹ Там же.

²² Там же.

красоте Киева: «и смотряше стенныя высоты и мест приступных, и увидев, и удивися необычной красоте стен и крепости града».²³

Как в «Повести о разорении Рязани Батыем», казанцы бьются на вылазках против русских «един бо казанец бияшеса со сто русинов, и два же со двема сты».²⁴

Описание приступа русских войск к Казани напоминает описание осады Рязани Батыем: русские приступают к Казани день и ночь 40 суток «не даючи от труда поспати казанцем, и многи козни стенобитныя замышляючи, и много трудяшеса, аво тако, ово инако, инии же что успеха и чем же град вредиша; но яко великая гора каменная, твёрда стояху град и недвижимо никуда же, от силнаго биения пушечного ни шатаюся, ни позыбаяся. И недомышляхуса стенобитнии бойцы, что сотворити граду».²⁵

Речи казанцев необычны для врагов. Они исполнены воинской доблести и мужества, верности родине, ее обычаям и религии. Казанцы говорят друг другу, укрепляя себя на брань: «Не убоимся, о храбрый казанцы, страха и прещения московскаго угауби (так!) и многия его силы руския, аки моря биющагося о камень волнами и аки великаго леса шумаща напрасно, селик имуще град наш тверд и велик, ему же стены высокоя и врата железная и люди в нем удалы велми, и запас мног и доволен стати на десять лет в прекормление нам. Да не будем отметницы добрыя веры нашия срацынска и не пощадим пролити крови своея, да ведоми не поидем в плен работати иноверным за чюжей земли, христианом, по роду меньшим нас и украдшим благословение».²⁶

В уста казанцев вкладываются формулы плача Ингваря Ингоревича²⁷ из «Повести о разорении Рязани Батыем».

Отчаяние казанцев описывается так, как раньше описывалось бы только отчаяние русских. Казанцы говорят: «где есть ныне сокроемся от злыя Руси. Придоша бо к нам гости немилыя и наливают нам пити горькую чашу смертную». Правда, неловкость такого лирического отношения к душевным переживаниям врагов смягчается последующими словами о «горькой чаше», которую в свою очередь казанцы заставляли когда-то пить «злую Русь»: «ею же (т. е. чашей этою) мы иногда часто черпахом им, от них же ныне сами тая же горькия пития смертныя неволею испиваем».²⁸

Нарушения этикета простираются до такой степени, что враги Руси молятся православному богу²⁹ и видят божественные видения,³⁰ а русские совершают злодеяния, как враги и отступники.³¹

²³ Там же. Ср. в Ипатьевской летописи под 1237 г. (ПСРЛ, т. II, столб. 782): «видив град (Киев, — Д. Л.) удивися красоте его и величеству его».

²⁴ Там же, стр. 131. Ср. в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «Един (язанец, — Д. Л.) бияшеса с тысящей, а два со тмою» (ТОДРЛ, т. VII. М.—Л., 1949, стр. 290).

²⁵ Там же, стр. 136—137. Ср. в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «И обступша (Батый, — Д. Л.) град (Рязань, — Д. Л.) и начаша битися неотступно пять дней. Батыево бо войско пременишася, а граждане непременно бьяшеса. И многих граждан побьша, а инех узвиша, а инии от великих трудов изнемогша» (ТОДРЛ, т. VII, стр. 292).

²⁶ Там же, стр. 146. «Угауби» — по-видимому переданные тайнописью бранное выражение.

²⁷ Там же, стр. 152—153. Ср. отдельные выражения с плачем Ингваря Ингоревича (ТОДРЛ, т. VII, стр. 297—299).

²⁸ Там же, стр. 153.

²⁹ Там же, стр. 51.

³⁰ Там же, стр. 130—131, 154.

³¹ Там же, стр. 155—157.

Эти странные нарушения этикета можно было бы попытаться объяснить тем, что автор «Казанской истории» был пленником в Казани и, может быть, даже тайным сторонником казанцев, но уместно напомнить, что автор «Повести о взятии Царьграда» XV в. — Нестор Искандер был также пленником у турок, но ни одного случая нарушения литературного этикета у последнего наоблюсти невозможно. Сочувствие же автора «Казанской истории» русским и Грозному не вызывает сомнений.³² Да и самое количество списков «Казанской истории», обращавшихся среди русских читателей, свидетельствует о том, что перед нами произведение, отнюдь не враждебное русским.

Нарушения литературного этикета в «Казанской истории» имеют сходство с нарушениями единства точки зрения на действующих лиц в Хронографе 1617 г. Автор «Казанской истории» смешивает этикет в отношении русских и их врагов, подобно тому как автор Хронографа 1617 г. совмещает дурные и хорошие качества в характеризуемых им лицах.³³ И тут и там разрушается примитивно морализующее отношение к объекту повествования, с тем только различием, что в Хронографе 1617 г. это разрушение проведено глубже и последовательнее.

Итак, разрушение системы литературного этикета началось еще в XVI в., но целиком эта система не была разрушена ни в XVI, ни в XVII в., а в XVIII в. частично заменена другой. Особо отметим, что разрушение этикета совершалось прежде всего в светской части литературы. В сфере церковной литературный этикет был нужнее, и здесь он сохранялся дольше, хотя Аввакум и устраивает против него настоящий бунт, впрочем больше похожий на самосожжение, ибо литературный эффект этого бунта против этикета мог существовать только до той поры, пока продолжал еще существовать и сам литературный этикет, питавший в этом отношении его творчество.

*

Литературный этикет древней Руси и связанные с ним литературные каноны нуждаются во внимательном изучении. Многие вопросы литературной формы смогут быть объяснены в результате исследования этого специфического для средневековья явления. В данном сообщении мы ограничились самой предварительной постановкой вопроса, отнюдь не исчерпав всех тех проблем, которые возникают в связи с данной темой. Предстоит еще произвести много частных и общих исследований, прежде чем вопрос этот станет более или менее ясным как предмет изучения.

В частности, чрезвычайно важно внимательно изучить и противоборствующие литературному этикету явления, разрушающие литературные каноны, ибо художественные методы средневековья чрезвычайно разнообразны и не могут быть сведены только к идеализации, только к нормативным требованиям, а тем более к литературному этикету и литературным канонам. Всякого рода категорические и ограничивающие суждения были бы здесь только вредны. Следует стремиться видеть явления литературного этикета и литературных канонов во всей широте, разнообразии, но и не преувеличивать их значения в средневековой литературе.

³² Г. Н. Моисеева. Автор «Казанской истории». — ТОДРА, т. IX. М.—Л., 1953, стр. 266—288.

³³ Д. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. М.—Л., 1958, стр. 15—22